**Сочинение на тему «Тема России и революции»**

И.Машбиц-Веров

Людей, как известно, надо судить не по тому, чего они не сделали, а по тому, что сделали. И Блока как поэта необходимо оценить не по тому, чего он не сумел достигнуть, а по тому, чего, несмотря на все противоречия, достиг.

Блок за свою недолгую жизнь узнал такие крупнейшие исторические события, как революция 1905 года, период жестокой реакции, империалистическая война, Февральская и, наконец, Великая Октябрьская революция. Все это — реальные вехи путей Родины, узловые моменты ее истории, на которые живо откликнулся поэт.

С самого раннего своего творчества Блок, хоть и редко, но все же обращался к реальной жизни и истории России. С этого он, начал свой путь, осмыслив картину Васнецова «Гамаюн» как образ России, идущей все вперед сквозь иго татар, голод, казни... В период «Стихов о Прекрасной Даме», преодолевая мистику, он показал страдания обездоленных простых русских людей, обращаясь к реальной и трудной жизни на родной земле («Фабрика», «Из газет»).

В эпоху 1905 года Блок уже шире обращается к реальной жизни России. И просто удивительно, что уже в 1904 году он осознал, что «барка жизни встала» и выводит ее на простор «сильный в сером армяке»; что поднимающийся народ — несметно растущая сила («Поднимались из тьмы погребов»); что день 9 января он осмысливает как первый день революционной борьбы, предвещающий: «громче будет скрежет».

Правда, в стихотворении «Митинг» революционер — «серый»; он произносит «запыленные слова», гремит «цепями тягостной свободы». Однако не потому ли так подчеркнута «серость», чтобы обычным для блоковской поэтики контрастом возвеличить революционера: «спрятанный за черной пастью дул», он освящается «ангелом», «уверенно вздыхает дыханием свободы», «светел круг его лица» (II, 172—174).

Реалистически, без тени мистики, показывает Блок в те же годы и враждебный революции лагерь: самодержавие и «сытых». Самодержавие для него — «пыль прошлого», несдавленный «змей», «древняя сказка», которая «ляжет мертвой» в «бесполезной борьбе», ибо «готовы новые птенцы» («Вися над городом всемирным», «Еще прекрасно серое небо»). Сытые же, встревоженные «красным смехом чужих знамен», это — «важные чрева, прогнивший хлев» («Сытые»).

И насколько же все это чуждо, более того, — противоположно тому, что в те же годы писали Вяч. Иванов и А. Белый, действительно рисовавшие не «реальную жизнь и реального человека», а искания своих «религиозных душ»!

Обращаясь, казалось бы, непосредственно к истории, последовательные символисты остаются в том же круге субъективных религиозных исканий. Это мы видим, например, в «Христе и Антихристе» Мережковского (1892—1904). Рисуя античность, итальянское Возрождение, Россию эпохи Петра, Мережковский ищет здесь «правду третьего Завета», противостоящую аскетическому христианству, которое пренебрегает плотью, и язычеству, которое пренебрегает христианским «духом». С этих позиций и трансформируется история: автора, в сущности, не интересует объективный процесс развития определенного народа в определенный период.

Многочисленные прозаические произведения другого виднейшего символиста старшего поколения — Ф. Сологуба — построены по тому же принципу: за внешне, казалось бы, вполне реальными событиями постоянно рисуется неподлинность реальной жизни и, наоборот, «подлинность» мечты, игры «теней», спасительность безумия, смерти...

На фоне и в сопоставлении с этой символистской традицией и необходимо осмыслить поэзию Блока о Родине, рядовых ее людях, нарастающем революционном движении. Тогда становится ясно, что уже в 1905 году у Блока намечается свой путь, отличающийся от пути символизма, противостоящий ему. И если уже в любовной лирике Блок разоблачал окружающий его мир, как гибельный, и напряженно искал выхода к «вольной воле», к Родине, к достойной человеческой жизни, то тем более сказалась эта его направленность в разработке социально-революционной тематики.

Самостоятельность пути Блока особенно отчетливо выявилась в период реакции, начиная с 1907 года.

В это время у русских символистов появляется ряд произведений, где они так или иначе пытаются выйти за грани мятущегося «Я», обращаясь к теме России и по-своему осмысливая ее пути. Таковы, в первую очередь, книги А. Белого «Кубок метелей», «Пепел», «Серебряный голубь», «Петербург», а также, пожалуй, роман Ф. Сологуба «Навьи чары» (1907-1912).

Уже во введении к «Навьим чарам» автор объявляет, что действительность, пусть она и «бушует яростным пожаром» революции, — безысходная тьма. Осветить же эту тьму может только мечта, и «я, поэт, над тобою, жизнь, воздвигну творимую мною легенду».

Герой «Навьих чар» Триродов, «социалист», владеющий черной магией, и творит легенду: он воскрешает мертвых, совершает другие чудеса и, наконец, покидает темную землю ради созданной им «хрустальной планеты». При этом фигурирующие в романе «товарищи», «социал-демократы» оказываются посрамленными в своей «ограниченности» и «неведении». Их побеждает Триродов, по Сологубу, — «реальность будущего».

Так роман, обращенный, казалось бы, к современности, продолжает традиции символистского искусства: поиски смысла жизни «над историей», превращение реального мира «в фантом, просвечивающий иными мирами».

У А. Белого эта символистская традиция предстает еще в более широких масштабах. Он возвел кустарную магию Сологуба в ранг теософии; посрамленную демократию представил «многоножкой»; предрек, что «октябрьской песни 1905 года не будет никогда»; увидел спасение России, осаждаемой «монголизмом» и «кантианством», в воскрешающем Христе.

Множить примеры сказанному нет смысла, но необходимо остановиться все же на сборнике стихов Белого «Пепел» (1909). Эту книгу некоторые советские исследователи трактуют как книгу, знаменующую переход от мистики к реальной действительности, книгу революционную, родственную поэзии Блока. «В «Пепле», — пишет Ц. Вольпе,— отброшена соловьевская мистика и ее место заступило открывшееся Белому реальное лицо русской жизни». В издании «Стихотворений и поэм» Белого (1966) Т. Хмельницкая оценивает «Пепел» в том же духе: «Центральный образ книги — Россия и судьба народа... «Зори» оказались иллюзорными, миф Вл. Соловьева о «Жене, облеченной в солнце» не реализовался... «Пепел» — переход от мистических иллюзий к реальности. Город Белого освещен заревом революционных вспышек и красных знамен, в стихах поэта появляется некрасовская гражданская прямота раскаленного гнева и боли». Проводя, далее, параллель с Блоком, Хмельницкая пишет, что трижды оказались оба поэта творчески близкими: в раннем периоде — через соловьевство; «вторая встреча — стихи о России», третья — поэмы «Двенадцать» и «Христос воскрес».

Однако так ли это? Ведь даже в раннем творчестве, когда Белый и Блок в известной мере были близки, воспевали, по словам Е. Иванова, «одну Зарю», они все же, как мы видели, по-разному ее осмысливали и воплощали. И уж совсем по-разному осмыслили они Россию в стихах о Родине периода реакции, в поэмах об Октябре.

У Белого Россия — «проклятая, роковая страна», ее «народ — немой», безысходны нищета, горе, болезни, пьянство.

Такова в «Пепле» не только деревня, где живут сплошь убийцы, насильники, бродяги. Таков у Белого и город. И если, как пишет Т. Хмельницкая, этот город и бывает изредка «освещен заревом революционных вспышек и красных знамен», то лишь для того, чтобы подтвердить безысходность «безумия».

Луч солнечный ужо взойдет:

Со знаменем пройдет рабочий.

Безумие нас заметет —

В тяжелой, в безысходной ночи.

(«Пир»)

Правда, в качестве эпиграфа к книге взяты стихи Некрасова. Но ведь и Некрасова символисты трактовали как поэта «чистейшего откровения духа, самой возвышенной и свободной религии». Цитируемые Белым слова Некрасова о Родине: «Но желал бы я знать, умирая, что стоишь ты на верном пути» — и имеют, очевидно, тот смысл, что Россия останется «верна» религиозно-мистическому пути, полностью раскрытому и в этой книге, и в «Кубке метелей», и во всем дальнейшем творчестве Белого.

С неоспоримой ясностью возникает различие поэзии Белого и Блока, если непосредственно сопоставить их стихи тех лет о России.

Вот характерное стихотворение из «Пепла» о революционном рабочем, «заключенном вожде» (1907):

Пока над мертвыми людьми

Один ты не уснул, дотоле

Цепями ржавыми греми

Из башни каменной о воле.

Да покрывается чело, —

Твое чело, кровавым потом.

Глаза сквозь мутное стекло —

Глаза — воздетые к высотам.

Нальется в окна бирюза,

Воздушное нальется злато.

День — жемчуг матовый — слеза —

Течет с восхода до заката.

То серый сеется там дождь,

То — небо голубеет степью.

Но здесь ты, заключенный вождь,

Греми заржавленною цепью...

А вот — в параллель — стихотворение Блока того же года и, в сущности, на ту же тему — «Рабочему» (заглавие по рукописи) :

Я ухо приложил к земле,

Я муки криком не нарушу.

Ты слишком долгим стоном душу

Бессмертную томишь во мгле.

Эй, встань, и загорись, и жги!

Эй, подними свой верный молот,

Чтоб молнией живой расколот

Был мрак, где не видать ни зги!

Ты роешься, подземный крот!

Я слышу трудный, хриплый голос...

Не медли. Помни: слабый колос

Под их секирой упадет...

Как зерна, злую землю рой

И выходи на свет. И ведай:

За их случайною победой

Роится сумрак гробовой.

Лелей, пои, таи ту новь,

Пройдет весна — над этой новью,

Вспоенная твоею кровью,

Созреет новая любовь.

(III, 86).

Не ясно ли, что перед нами совершенно разное осмысление революционного рабочего? У Белого побежденный вождь одинок, кругом—«мертвые люди», победа реакции неотвратима, это «перст судьбы железной» («Пир»). И такова же поэтическая структура стихотворения: безысходность тюрьмы подчеркнута контрастом с утраченной навсегда красотой природы: бирюза, воздушное злато, день — жемчуг сопоставлены с ржавыми цепями.

У Блока голос «Рабочего» — голос земли русской: «Я ухо приложил к земле»; герой, словно «подземный крот», который глубоко роет; в его руках «верный молот»; за ним — народ, хоть и побежденный, хоть сегодня и «слабый колос», но «пройдет весна» и он созреет, вспоенный кровью. И реакция для Блока не только не безысходный перст судьбы, а «случайная победа, гробовой сумрак». Наконец, Блок говорит о побежденном народе словами самого высокого уважения, любви, глубокой убежденности в его будущем: это сила неугасимого огня, которая «молнией расколет мрак», и ассоциируется она с весной и любовью. Еще отчетливей слышен революционный пафос поэта в варианте заключительных строк:

Взойдет и всколосится новь,

И по весне — для новой нови

Прольем ковши из жирной крови,

Чтоб зрела новая любовь.

(III, 521).

Приведем еще два стихотворения — Белого и Блока (1907), — дающие более широкое освещение эпохи.

У Белого это «Отчаяние», уже упоминавшееся нами вступление к «Пеплу», как бы эпиграф автора ко всей книге:

Довольно: не жди, не надейся —

Рассейся, мой бедный народ!

В пространство пади и разбейся

За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.

Позволь же, о родина-мать,

В сырое, в пустое раздолье,

В раздолье твое прорыдать:

Туда, на равнине горбатой, —

Где стая зеленых дубов

Волнуется купой, подъятой

В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,

Восстав сухоруким кустом,

И в ветер пронзительно свищет

Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,

Поднявшись над сетью бугров,

Жестокие, желтые очи

Безумных твоих кабаков, —

Туда — где смертей и болезней

Лихая прошла колея, —

Исчезни в пространство, исчезни,

Россия, Россия моя!

У Блока это — «Тропами тайными».

Тропами тайными, ночными,

При свете утренней зари,

Придут замученные ими

Над ними встанут упыри.

Овеют призраки ночные

Их помышленья и дела,

И загниют еще живые

Их слишком сытые тела.

Их корабли в пучине водной

Не сыщут ржавых якорей,

И не успеть дочесть отходной

Тебе, пузатый иерей!

Довольных сытое обличье,

Сокройся в темные гроба!

Так нам велит времен величье

И розоперстая судьба!

Гроба, наполненные гнилью.

Свободный, сбрось с могучих плеч!

Все, все — да станет легкой пылью

Под солнцем, не уставшим жечь!

(III, 87)

И опять перед нами два мира, два противоположных осмысления эпохи реакции.

У Белого это — страна безысходности, страна и народ, обреченные на гибель.

Вяч. Иванов так объяснил эти стихи: «...У Андрея Белого послышались крики последнего отчаяния» потому, что он слишком близко принял кощунственную действительность, «опровергшую бога»,— действительность периода «войны и освободительного движения», источавших «тончайшие яды недуга». Но такой пессимизм теурги преодолевают «во имя религиозного приятия нетленной под покровом тления Земли».

Слова Иванова, главы теургов, очень точно характеризуют идею «Отчаяния» (да и всей книги «Пепел»). И они вносят ясность, прежде всего, в заклинание Белого, который призывает «исчезнуть России... где смертей и болезней лихая прошла колея»,— колея, очевидно, «земли, источавшей яды».

Религиозное же приятие «нетленной земли», спасающее от «отчаяния», Белый дал в ряде других стихотворений книги, в частности, в своем «Обете»; где «горестные земные пространства» преодолеваются в мистико-теософских мирах:

Уносимся в обитель нашу

Эфиром плещущих степей...

Там вспыхнет луч...

Тема России у Белого — тема ее «религиозного спасения». Блок же шел другим путем, и Россия периода реакции предстает поэтому перед ним совершенно иной. В стране лишь временно властвуют «гроба, наполненные гнилью». И воплощено это в жизненно-конкретных «слишком сытых телах», торжествующих («довольных сытое обличье») вкупе с «пузатым иереем». Но за всем этим поэт видит грядущее «величие времени», величие народа, который победит этот мрак. В другом варианте стихотворения социальная мотивировка еще обнаженней:

Гроба, наполненные гнилью,

Рабочий сбросит с вольных плеч.

(III, 522)

Так в годы реакции отчетливо возникает принципиальное различие путей Белого и Блока.

Белый продолжает путь символиста-мистика. Блок же, освободившись от ранней мистики, от уродовавшей его «старой веры», не ищет больше спасения в надземном. Наоборот, он все теснее сближается с реальной действительностью. Глубочайшим образом переживая муки Родины, Блок ищет выхода не в небе, а на земле. И отсюда также совершенно другой «обет» Блока, противостоящий «обету» Белого:

Да. Так диктует вдохновенье:

Моя свободная мечта

Все льнет туда, где униженье,

Где грязь, и мрак, и нищета.

Туда, туда, смиренней, ниже —

Оттуда зримей мир иной...

Ты видел ли детей в Париже,

Иль нищих на мосту зимой?

На непроглядный ужас жизни

Открой скорей, открой глаза,

Пока великая гроза

Все не смела в твоей отчизне, —

Дай гневу правому созреть,

Приготовляй к работе руки...

(III, 93)

Бесспорно: Блок в это время еще не знал действительных путей освобождения от мрака жизни. Он поэтому и искал подчас забвения, «топя отчаянье в вине», в страстях, самое «имя — Россия» произносил нередко «внешне наивно, внешне бессвязно» (1908, VIII, 266). Но за этой внешней бессвязностью всегда крылось глубокое чувство Родины, любовь к ней, вера в нее. Именно эти чувства, созревая и укрепляясь, убеждали поэта в великом будущем Родины:

В голодной и больной неволе

И день не в день, и год не в год.

Когда же всколосится поле,

Вздохнет униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,

То выпрямляясь, то клонясь

Всю ночь под тайным ветром, злаки:

Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,

Kраса и радость всем цветам:

Не миновать господня лета

Благоприятного — и нам.

(1909, III, 88)

Блок все более осознавал: «мир безмерно больше и прераснее, чем каждый из нас»; «социальная тема — самая важная»; писатели, красующиеся своим «Я», черпающие материал «из чего угодно, только не из жизни», могут создавать лишь «нечестную, декадентскую литературу (VIII, 412, 413, VII, 217). В объективном мире — в революции — Блок и ищет спасения России. С наибольшей силой это поэтически воплощено в цикле «Ямбы» (1907—1914):

Я верю: новый день взойдет...

Пусть день далек — у нас все те ж

Заветы юношам и девам:

Презренье созревает гневом,

А зрелость гнева — есть мятеж.

(III, 96)В этой связи особенно знаменателен цикл «На поле Куликовом» (1908).

Блок стремится осмыслить здесь исторический путь России. Куликовская битва для него — символ величайших испытаний, которые Родина, несмотря ни на что, преодолела.

И поэт видит далее все тот же трудный путь: «вечный бой, покой нам только снится». Но вместе с тем он глубоко верит в будущее России и притом совсем не в религиозном духе. Окружающую «ночную и зарубежную тьму» победит «древняя воля» народа, пробужденная еще «татарской стрелой».

Она победит и современную тьму:

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

Степную даль.

Не «божья мать», а реальная Россия с ее ковылями, реками, вековой тоской, непрекращающимися боями и пожарами,— вот что живо в душе поэта, всегда его «кличет», оставаясь для него «дивным дивом».

Явись, мое дивное диво,

Быть светлым меня научи!

Цикл завершается стихотворением, где тьма эпохи реакции, когда как будто наступила «тишь», вовсе не воспринимается поэтом как «перст судьбы». Это очередное испытание: «суровое облако заволокло грядущий день». Но неизбежны новые битвы, великие дни революции. Это продолжение темы «Ямбов» о грядущем величии времен, которые сбросят «гроба, наполненные гнилью»:

За тишиною непробудной,

За разливающейся мглой

Не слышно грома битвы чудной,

Не видно молньи боевой.

Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней.

(III, 253)

Цикл «На поле Куликовом» входит в раздел «Родина» (1908—1916). И здесь еще отчетливей предстают пути, которые видятся поэту как возможный выход для Родины. В стихотворении «Россия» (1908—1910) Блок обращается к неиспользованным величайшим богатствам страны:

Твои болотистые топи

Обманчивы, как ты сама:

Там угля каменного копи,

Там драгоценных камней тьма!

Сулишь ты горы золотые,

Ты дразнишь дивным мраком недр.

Россия, нищая Россия,

Обетованный край твой щедр.

(III. 590)

В стихотворении «Родине («Русь моя, жизнь моя», 1910), Блок противопоставляет «тьме» тогдашней России, «сонному мареву — царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма» — «вольное сердце» — вариант «древней воли» народа:

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...

Вольному сердцу на что твоя тьма?

(III. 259)

В стихотворении «Задобренные лесом кручи» речь идет о сектантах, высоко возносившихся Мережковским и другими символистами. У Блока же это люди, которые «не знают о весне», шепчут вечные молитвы «людской врагине—тишине»; и растут они с «запуганными душами», «несут испуганной России весть о сжигающем Христе» (в вариантах — «о чудовищном Христе»). Но и за этой вековой тишиной запуганной и униженной страны поэт видит иное: огромные, неиссякаемые творческие возможности:

Но в каждой тихой, ржавой капле

Зачало рек, озер, болот.

(III, 248, 586)

В стихотворении «Новая Америка» (1913, первоначальное название «Россия») «старческий и постный лик» униженной страны вытесняет страна величайших возможностей, Россия заводов и труда. И этой «невесте-России» «не страшны голоса каменных песен»:

То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

«Новая Америка в понимании Блока, — справедливо замечает В. Орлов, — это поэтический образ будущего мира Великой Демократии». И там, по Блоку, оттеснив врагов человека — тишину и лень, — восторжествуют новые люди и творческий труд:

И Америка новая снится,

Новый род и его города...

Там за белым, за красным, за черным —

Есть великое счастье труда.

(III, 270, 596, 597).

В стихотворении «Было то в темных Карпатах» (1913), созданном, по признанию поэта, когда ему «было очень скверно», он пишет:

Верь, друг мой, сказкам: я привык

Вникать

В чудесный их язык

И постигать

В обрывках слов

Туманный ход

Иных миров...

Так легче жить,

Так легче жизнь терпеть

И уповать,

Что темной думы рост

Нам в вечность перекинет мост...

Жди, старый друг, терпи, терпи,

Терпеть не долго, крепче спи.

(III, 290)

Очевидно, что такие «сказки» — это «истина» символизма, которой он сам когда-то был верен. Теперь он иронически характеризует провидения такого искусства как «темную думу», сон: «это из жизни другой мне жалобный ветер напел». Действительно, в это время Блок уже был далек от символистов. «Никаких символизмов больше, — один, отвечаю за себя один» — записывал он в том же году в «Дневнике» (VII, 216).

Сказанным определяется отношение Блока к империалистической войне, а затем и к Октябрьской революции. В 1915 году В. И. Ленин писал: «В одном отношении русское правительство не отстало от своих европейских собратьев: так же, как и они, оно сумело осуществить обман «своего» народа в грандиозном масштабе. Громадный, чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пущен в ход и в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представление, будто царское правительство ведет «справедливую» войну, бескорыстно защищает «братьев-славян» и т. д.».

В этом «грандиозном» обмане активно участвовали и писатели.

Только два больших русских поэта выступили против войны: Демьян Бедный и В. Маяковский. Все остальные так или иначе воспевали войну. Даже Брюсов поддался в первый год угару шовинизма. Но первое место принадлежит здесь, пожалуй, Н. Гумилеву. Он создал культ войны: война для него — расцвет духа человека, святое дело:

И поистине светло и свято

Дело величавое войны:

Серафимы, ясны и крылаты,

За плечами воинов видны

и т. п.

Игорь Северянин выступал несколько по-иному. Он был поэтом той буржуазии, которая, посылая людей на убой, сама, по слову Маяковского, весело проживала «за оргией оргию». И призывая всех, даже женщин, идти на войну — «Благословение народу! Благословение войне!.. Лей кровь, как воду»... — сам Северянин предпочитал в это время —

Пройтиться по Морской с шатенками,

Свивать венки из хризантем,

По-прежнему пить сливки с пенками....

Наиболее активен был Ф. Сологуб. Он даже издал специальную книгу стихов «Война» (1915).

В предисловии к сборнику военных стихов русских поэтов он объяснял: «Война — одно из могущественнейших средств, которым пользуется Рок народов для достижения своих далеких целей». Рок же русского народа («отношение русского духа к войне, согласное с духом и судьбою России и оовещеное немеркнущим светом религиозного сознания») заключается в том, что «превратности военного счастья и тяжелые удары судьбы принимаются, как жертвы, покорно и смиренно, — жертвы, спасительной силой которых крепка русская земля».

Так религией оправдывает и благословляет Сологуб кровавую бойню — величайшие страдания миллионов. А долгом русской поэзии он объявляет перевоплощение народных мук в «радость, бодрость и надежду».

Именно эту функцию и выполняет символистская поэзия. В стихах самого Сологуба утверждается, что русский народ играет роль Мессии: «Он — молот, Господом избранный!», «побеждает Сатану», и каждый солдат это сознает:

Я вышел в ратное поле,

Сражаюсь за святую Русь.

Вся жизнь моя в Божьей воле,

И я ничего не страшусь.

Гарантией же победы при этом провозглашается «Святой Георгий Победоносец»: «нетлением венчанный, на горе небес стоит, и день победы, день желанный славным ратям он сулит».

Вместе с тем «божеский» подвиг оборачивался у Сологуба и вполне реальными вожделениями: надеждой овладеть Босфором, Константинополем, «ширью» чужих земель:

Грохочут пушки у Босфора,

И уж свободны станут скоро

Пути для наших кораблей...

И наши станут шири, дали

И средиземный гул волны,

О чем так долго мы мечтали,

О чем нам снились только сны...

К. Бальмонт освящает войну тем же «Роком». Россия отрывает «святые нови»; небесные «звоны и свет» льются на сильного, смелого, бодрого, гордого» русского солдата. Тот же, «кто поет про руки, ноги» (т.е. об изувеченных войной людях), объявляет Бальмонт, тот «раб проклятый, прочь с дороги!».

Христианнейший смиренник Вяч. Иванов, как и Бальмонт, восстает против тех, кто отказывается воевать, «стыдясь знаменоваться кровью». Это, объявляет он, ложное понимание христианского завета любви: «ложь уединенного добра» тех, кто оторвался от народа; это «недуг, блуждание во Христе и соблазн». Да, утверждает Вяч. Иванов, в будущем народы будут «целоваться в соборной святыне». Но теперь, когда восстало «черное застарелое зло», в войне — «красота, правда, суд божий». И подлинно народная «совесть русская» это знает:

Когда решеньем вышних сил

Русь ворога превозмогает, —

Архистратиг ли Михаил,

Иль ей Георгий помогает.

И на вселенские весы

Бросая подвиг достославный...

Ты, совесть русская, себе,

Дитя, верна и в бездорожье

Скитаний темных. И Судьбе

Самой кричишь: «Суди по-божьи!»

Особый интерес представляет поэтическое осмысление войны А. Белым.

Непосредственно на эту тему он, впрочем, не писал. Став в те годы ревностным учеником теософа Штейнера, он уехал в Швейцарию, где строил «Иоанов храм». И в стихах его раскрывались различные теософские проблемы, в духе теурго-теософии трактовались любовь и бытие. Суровая жизнь, однако, вторгалась в этот искусственный мир, и война у Белого получила известное освещение.

И вот его «концепция» войны. Действительность (как это воплощено, в частности, в вышеприведенном стихотворении «Тела», 1916) — «небытие, беспламенная мгла», где влачит «бессмысленные дни разбитый дух в разорванном теле». И тем более бессмысленно существование «мертвенных тварей» в «грозной гари» войны. Обрести же смысл жизни человек может лишь обратившись к «иным мирам»: «Мы — ослепленные, пока в душе не вскроем иных миров знакомое зерно». А тогда уже, по Белому, раскрываются два спасительных начала: Христос и теософская космогония.

Пришествие Христа рисуется, например, в стихотворениях «А. М. Поццо». Слыша доносящиеся с Вогез «отчетливые грохоты митральез», поэт молится: «Ты — в грохоты неумолимой битвы, о, Господи, сойди!» И господь исполняет моление: «Идет — туда: в молитвы: в зори, в зовы, в грома, в рога гранат». А далее, предвещает поэт, с пришествием Христа последует благостное обновление мира:

Пусть мы — в ночи! Пусть — ночи бездорожий!

Пусть — сон и сон!..

В покое зорь и в предрассветной дрожи

За ночью — Он.

Собственно же теософское осмысление войны — несколько иное: спасение несут «волны набегающего света иных земель, благие иерархии». Однако Христос и здесь присутствует. Так создается мистико-теософское единство. В известных стихотворениях «Родине» об этом говорится со всей возможной для такой темы ясностью. Сгорающая в великих испытаниях, в «столбах громового огня, в роковых разрухах», Россия «тверденеет алмазом брони» и с помощью Христа и космических стихий преодолевает тьму, оставаясь страной-Мессией:

Из моря слез, из моря муки

Судьба твоя — видна, ясна:

Ты простираешь ввысь, как руки,

Свои святые пламена —

Туда — в развалы грозной эры

И в визг космических стихий, —

Туда, — в светлеющие сферы,

В грома летящих иерархий.

(«Родине», 1916)

В твои роковые разрухи,

В глухие твои глубины, —

Струят крылорукие духи

Свои светозарные сны.

Сухие пустыни позора,

Моря неизливные слез —

Лучом безглагольного взора

Согреет сошедший Христос...

(«Родине», 1917)

Если суммировать сказанное, то перед нами действительно, «чудовищный аппарат лжи и хитросплетений», созданный поэтами, чтобы заразить массы шовинизмом и представить войну как святое дело. При этом символисты создали свою концепцию, освящающую империалистическую бойню богом, Мессией, Судьбой, а у Белого еще и теософией.

На этом фоне следует осмыслить творчество Блока тех лет. Как и Белый, Блок непосредственно на тему войны написал мало. Но причины здесь иные: Блок не ушел ни в теософию, ни в «иные миры». Наоборот, война — в центре постоянных раздумий поэта. Но Блок отнесся к ней, как к величайшему несчастью Родины и народа. Это очередное испытание, путь сквозь безбрежную тоску, кровь, бои, ночь, все те же «испепеляющие годы». И Блок не знает «безумья ль в вас, надежды ль весть?»...

Незнание выхода, «роковая пустота» этих страшных лет, «кровавый отсвет от дней войны» — вот что вызвало немоту Блока: «то гул набата заставил заградить уста» (III, 278).

Однако есть у Блока и отклики на войну.

В сентябре 1914 года, в самый разгар шовинизма, Блок пишет стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем...»

В это время барды войны торжественно воспевали уход на бойню: под звуки фанфар, боевых рогов, оркестров, под благословение бога и святых. Блок тоже рисует отправление эшелонов с воинами на фронт. Но все дается в ином освещении.

Цветущие молодые жизни — «боль разлуки, тревога любви, сила, юность, надежда», — вагон за вагоном угоняются на запад, под «дымные тучи в крови». И слышен не победный рог славы, а «рожок», который «плачет». Ахматова в стихотворении «Молитва» писала, что «грешно томиться» об уходящих и гибнущих на фронте: «Подумай, ты можешь теперь молиться заступнику своему». Блок тоже говорит о неуместности грусти, скорби, жалости. Но по другим причинам:

Жалость — ее заглушает пожар,

Гром орудий и топот коней.

Грусть — ее застилает отравленный пар

С галицийских кровавых полей...

(III, 275)

Еще более глубоко раскрывается трагическое состояние родины во время войны в стихотворении «Коршун» (1916).

Война, говоря словами Блока, — продолжение «лжи и грязи, в которой купалась наша родина». И вот возникает образ коршуна, который нещадно клюет покорную, несущую тяжкий крест, страну: коршун самодержавия — символ войны и зверских расправ с народом:

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты все та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней.

Доколе матери тужить?

Доколе коршуну кружить?

(III, 281)

Последним откликом Блока на войну была поэма «Скифы». Поэма помечена 30 января 1918 года. Следовательно, она создавалась в чрезвычайно ответственное, сложное время, разобраться в котором было очень нелегко. Еще 8 ноября 1917 года, на 11 съезде Советов, был принят Декрет о мире. Одновременно было обнародовано по радио «Обращение к народам и правительствам всех воюющих стран». Союзники, однако, не только продолжали отмалчиваться, но и начали активные действия против молодого Советского государства.

Борьба за мир, начатая Советской Россией, оказалась (как и предвидел Ленин) исключительно трудной. «Мы боремся против обмана правительств, которые все на словах говорят о мире, справедливости, а на деле ведут захватные грабительские войны», — указывал Ленин. Вместе с тем окончательно обнажилась лживость деклараций разных буржуазных партий об их якобы борьбе за мир: «Все партии до сих пор говорили об этой борьбе, но дальше слов и лицемерия не шли».

Империалисты вовсе и не хотели справедливого мира. Они хотели — и это одинаково относилось к внутренней и к иностранной буржуазии, к союзникам и к врагам — ценой русcкой крови, за счет территории России, с выгодой для себя перекроить карту мира, а заодно и покончить с Советской властью. Эту тактику хищников великолепно раскрыл Ленин.

«Взгляните на факты относительно поведения англо-французской буржуазии, — говорил он. — Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ... Она хочет, чтобы мы теперь воевали с Германией. Понятно, почему она должна хотеть этого... Англо-французская буржуазия ставит нам западню: идите-ка, любезные, воевать теперь, мы от этого великолепно выиграем. Германцы вас ограбят, «заработают» на Востоке, дешевле уступят на Западе, а кстати Советская власть полетит»

В свою очередь, и русская буржуазия надеялась на немцев как на «избавителей»... «Эта буржуазия встречает с восторгом немецких завоевателей, — указывал Ленин. — Они...травят криками «похабный мир, позорный мир». Они хотят, чтобы Советская власть дала бой... зная, что у нас сил нет, и тащат в полное порабощение к немецким империалистам, чтобы устроить сделку с немецкими полицейскими...»

В этих условиях сепаратный и немедленный мир с Германией был единственным выходом для Советской власти, единственной возможностью добиться мира.

Однако даже в Центральном Комитете партии не было единомыслия по этому вопросу. Любители «революционной фразы» предлагали «революционную войну», «ни мира, ни войны». Только В. И. Ленин и несколько самых близких к нему людей видели истинное положение вещей и в трудной и долгой борьбе добились наконец правильного решения. 23 февраля, незадолго до заключения Брестского договора, Ленин писал в «Правде»: «Пусть знает всякий: кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть».

Такова была политическая обстановка, когда Блок выступил со «Скифами». Как же он осмыслил и поэтически воплотил сложнейшую проблему войны?

В этом отношении заслуживает особого внимания запись Блока в «Дневнике» от 11 января 1918 года. «Результат» Брестских переговоров (т. е. никакого результата...), — записывает Блок. — Никакого — хорошо-с. Но позор 3 1/2 лет («война», «патриотизм») надо смыть. Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй! Артачься, Англия и Франция! Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позора вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток... Опозоривший себя, так изолгавшийся, — уже не ариец... И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека... Европа (ее тема) — искусство и смерть. Россия — жизнь» (VII, 317, 318).

В этой записи дана, в сущности, концепция «Скифов». Как и в поэме, поэт апеллирует к философии истории Вл. Соловьева. И вот Восток, «желтая опасность» возникает как возможная «месть», как возмездие изолгавшемуся Западу. Однако за этим естественным для Блока идейным, так сказать, атавизмом нетрудно разглядеть другое — истинный его пафос, который сводит на нет искусственную концепцию, обнаруживая советско-патриотическую ориентировку.

В самом деле: что Блок прежде всего выражает своими записями в «Дневнике»?

Во-первых, ясное сознание, что попытка союзников сорвать Брестские переговоры — это не только стремление продолжать «позор» войны, но — одновременно — попытка «погубить нашу революцию».

Во-вторых, что таким своим поведением союзники поддерживают интервенционистские устремления Германии, которая «тычет в карту», вожделея раздела России и захвата территорий.

В-третьих, что такая обстановка создает объединенный лагерь империалистов, стремящихся продолжать войну за счет России и русской революции.

Наконец, в истинно человеческой миссии выступает на этом фоне Советская Россия, требующая мира. В этой единственно человеческой и миролюбивой политике и заключается, по Блоку, «историческая миссия России», которую она выполнит: это жизнь, противостоящая смерти.

С замечательной поэтической силой все сказанное и выражено в «Скифах». Но только в поэме к знамени мира присоединяется еще другое знамя — труда. Присмотримся, как это выражено в образной системе поэмы.

Поэт противопоставляет старый Запад и новую Россию.

Это, с одной стороны, мир захватов и разрушений, давно готовившаяся империалистическая бойня: «И вы, глумясь, читали только срок, когда наставить пушек жерла». Война впоследствии и разгорается: «Вот срок настал. Крылами бьет беда, и каждый день обиды множит...»

И это, с другой стороны, мир, умеющий ценить и любить все человеческое — «острый галльский смысл, сумрачный германский гений». Мир, противостоящий прежде всего войне, крови:

Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно — старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем — братья!

Братство, к которому от имени Советской России призывает поэт, это и есть тот новый, единый в своей трудовой основе мир, который указывает выход из кошмара разрушений к строительству истинно человеческой культуры:

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз — на светлый, братский пир

Сзывает варварская лира!

Таким образом, истинный пафос поэмы — в утверждении высокого сознания русского, уже советского человека, «варвара», с точки зрения империалистов, но на деле утверждающего человечность, мир, свободный труд.

Приход Блока к такой позиции закономерен: он никогда не разделял милитаристских настроений, у него было принципиально иное, чем у символистов, отношение к войне. Недаром в статье «Интеллигенция и революция» он писал, что это — не «великая», не «отечественная», не «война за освобождение угнетенных народов», а «мерзость запустения, хамство», «кровопролитие» плюс «бессмысленное безделье миллионов, пошлость, пьянство, картеж, измены...» (VI, 10, 11).

Очень показателен и такой факт. В 1917 году Мережковские затеяли, совместно с Савинковым, издание газеты в духе «войны до победного конца». Решили привлечь к этому Блока. И вот что из этого получилось, как свидетельствует 3. Гиппиус:

«Вечером звоню к Блоку, зову к нам на первое собрание. Пауза. Потом: «Нет. Я, должно быть, не приду». — «Отчего? Вы заняты?» — «Нет. Я в такой газете не могу участвовать»... «Вот война, — слышу глухой голос Блока. — Война не может длиться. Нужен мир». — «Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?» — «Ну да...Нужно заключить мир». У меня чуть трубка не выпала из рук. «И вы не хотите с нами... хотите заключить мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?..» — «Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира».

Решительное требование большевиками мира, их непримиримая борьба против издавна ненавидимой поэтом «подлой буржуазии» — вот важнейшие факторы, приведшие Блока к Октябрьской революции. В ней он нашел реальные силы, не только противостоявшие войне, но и утверждавшие свободный труд: «светлый братский пир труда и мира». И если в «Ямбах», «грядущего не видя», Блок отвергал «настоящие дни» реакции; если тогда он мог только страстно «верить», что придет «новый век», который освободит наконец «смертельно оскорбленный гений всех несчастных поколений», то теперь он нашел в России реальные силы, которые борются за эти великие идеалы.

Правда, роды «нового века» были очень трудными, подчас жестокими и разрушительными. Буржуазная интеллигенция, в том числе бывшие друзья поэта, «ехидничали, надсмехались, злобствовали, не видя вокруг ничего, кроме хамства и зверства». Они кричали, что «России больше нет, Россия гибнет!»

Нет, отвечал им Блок, «передо мной — Россия: та, которую видели наши великие писатели... которую Гоголь назвал несущейся тройкой. Россия — буря. Демократия, опоясанная бурей».

И эта русская революция, по Блоку, — явление не случайное. Это — давний «поток, ушедший в землю, протекавший в глубине и тьме», о котором он писал в «Ямбах». И «что же вы думали? — обращается Блок к ехидствующим. — Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит?.. Что «бескровно» и «безболезненно» разрешится вековая распря между «черной и «белой» костью?..».

Теперь, продолжает Блок, «мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию», и «те из нас, кто уцелеет, окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ... «Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция». Ее цель — «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью... Все или ничего». Осуществление этих великих замыслов, «искони таящихся в душе народной» и бурно прорывающихся теперь в жизнь, — «это называется революцией».

Вместе с тем, объясняет Блок, «безмерные требования к жизни: все или ничего» совсем не означают давнишних символистских стремлений, выраженных еще 3. Гиппиус: «верить в то, чего нет на свете». Нет, утверждает Блок, эта вера «в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет... но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна» (VI,9 — 21).

Так Блок в статье «Интеллигенция и революция», предшествовавшей «Двенадцати», объясняет свое понимание Октябрьской революции. И статья уже теоретически формулирует суть поэмы, проясняет также ее сложную композицию.

Блок хочет показать, что «революция — не идиллия» и «народ не паинька»; что проходит она далеко не «бескровно и безболезненно»; что вливаются в нее и люди с корыстными целями. Как бы споря со своими недавними друзьями, он своей поэмой говорит: «Я тоже вижу и разрушения, и убийство, и грязь, и разгул яростных стихий. Но все это — неизбежное следствие вековой тьмы и вековой распри черной и белой кости. А за всем этим — самое главное — я вижу «новый век»: великие и светлые цели революции, восставшей против несправедливого старого мира».

Как поэт-романтик («все или ничего») Блок и воплощает свою мысль в резко контрастных образах.

И вот с одной стороны — Ванька, гулящая Катька, Петруха-убийца, призыв к грабежу и — вместе с ними, порождение того же старого мира — буржуй, вития-интеллигент, поп, барынька, проститутка.. А с другой — державный шаг народа, красногвардейцы, отвергающие «бессознательного», потерявшего «осанку и контроль» Петруху:

Не такое нынче время,

Чтобы нянчиться с тобой!

Потяжеле будет бремя

Нам, товарищ дорогой!

«Тяжелое бремя» революционной борьбы и несут гордо блоковские красногвардейцы:

Их винтовочки стальные

На незримого врага...

В переулочки глухие,

Где одна пылит пурга...

Да в сугробы пуховые —

Не утянешь сапога...

В очи бьется

Красный флаг.

Раздается

Мерный шаг.

Вот — проснется

Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи

Дни и ночи

Напролет...

Вперед, вперед,

Рабочий народ!

Блок особенно ценил именно то, что изобразил реальную современность. «Это лучшее, что я написал, — говорил он Г. Блоку о «Двенадцати», — потому что тогда я жил современностью».

Вместе с тем «державный шаг» народа Блок венчает Христом. Сам поэт не был удовлетворен этим образом. «Иногда я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак» — записывает он в «Дневнике» 10/3 1918 года. Н. Гумилеву, считавшему конец поэмы искусственным, Блок сказал: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел, чтобы этот конец был иной»... Художнику Ю. Анненкову Блок писал, что о Христе «я, может быть, хуже всего сумел сказать в «Двенадцати» (VIII, 514).

«Надвьюжной поступью» Христа под «кровавым флагом» поэт стремился, по его собственным словам, сказать, что «когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный» (VIII, 514). Это «огромное» Блок и воплотил по-своему: в Христе. И в этом есть своя закономерность. «Образ Христа, как символ светлой дали, светлого грядущего мира в противовес миру сущему — черному, мраку, — отмечает М. Бабенчиков, — излюбленный образ Блока».

Конечно, образ этот несет традиционные религиозные представления и поэтому противоречит реальному содержанию изображаемой эпохи, в частности — красногвардейцам, идущим «без креста». Это никак не достоинство поэмы. И неожиданное появление Христа свидетельствует лишь о том, что при неизменности движения в сторону революционно-демократической идеологии Блок еще сохранил кое-что от старого. Главное же — он не знал диалектики объективных социальных сил, определяющих ход событий. Поэтому ои и не смог, как это сделал несколько позже Маяковский, увидеть, что «этот вихрь, от мысли до курка, и постройку и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды».

В поэме «Двенадцать» Блок едва ли не первый в советской литературе художественно воплотил Октябрь как эпоху, по его собственным словам, «имеющую не много равных себе по величию». Недаром поэма была восторженно принята революционной интеллигенцией, использовалась в пропагандистских целях на фронтах. И совершил это Блок, мужественно противостоя своим недавним друзьям, почти поголовно ушедшим в лагерь врагов и объявившим ему бойкот: совершил, обратившись, в противовес модной тогда поэзии «космистов», не к абстрактным мирам, а к жестокой, сложно-противоречивой конкретной действительности. Одновременно Блок положил этой поэмой начало революционной романтике в советской литературе. «Поэма «Двенадцать», — пишет Л. Тимофеев, — несла в себе то революционно-романтическое начало, которое было органически близко основным тенденциям советской литературы и являлось одним из существенных источников ее развития в первые годы после Октября».

Процесс постепенного формирования у Блока революционно-демократического мировоззрения, приведшего к «Двенадцати», особенно интересно проследить по поэме «Возмездие». Она писалась с 1911 по 1921 год и охватывает решающий период всей творческой жизни поэта. Вместе с тем, поднимая важнейшие проблемы истории России, поэма эта с наибольшей полнотой выявляет общемировоззренческую и общехудожественную позицию поэта.

Несомненно, в «Возмездии» есть и элементы прошлого, подобно «монголизму» «Скифов» и Христу «Двенадцати». Таковы идеи «круговорота времен» и «крушения гуманизма», — мысль, специально развитая Блоком в статье под этим названием. Однако эти идеи получают в поэме противоположную символизму трактовку. «Концентрические круги» истории у Блока — в противоположность «возврату» человечества от безбожия к Христу — ведут не к религии, а к «возмездию» за не впрок прожитую отцами жизнь; ведут к поколению, которое «ухватится за колесо истории» и уйдет в революцию (III, 298). И это, собственно, совсем не «круговорот» и совсем не «возврат» Христа и Эдема на землю: это прогрессивное движение истории. «Крушение гуманизма» у Блока тоже прямо противостоит «крушению гуманизма», как это осмыслил в то же время Вяч. Иванов в статье «Кручи». Для Иванова гуманизм полностью и целиком — ложная культура, «отвратившая нас от христианских посулов и потусторонних надежд, всецело занявшаяся земным хозяйствованием», породившая революцию. Он приветствует «крушение гуманизма» как возврат к «вовлечению всех во Христа». У Блока все предстает в ином свете. Гуманизм — это «великое движение», «великий фактор мировой культуры», утверждавший в свое время «свободную человеческую личность». Но позже, считает Блок, — в XIX веке, когда на сцену выступили народные массы, гуманизм потерял значение и «целостность», стал знаменем не здоровой индивидуальности, а больного индивидуализма, раздробленности, «отделенности от мира», безволия, узкой специализации, кабинетности, превратил людей в машины. Этому выродившемуся гуманизму, ставшему из «культуры — цивилизацией», Блок и предвещает «крушение», противопоставляя ему новую культуру — «артистическую, музыкальную, синтетическую», возрождающую человека, его «творческий труд». И это несут, по Блоку, революционные народные массы, ибо «главное, что несет с собой революция: волевой, музыкальный, синтетический порыв» (VI, 106).

Таким образом, концепция «крушения гуманизма», о которой М. Горький сказал: «...верования Блока кажутся мне неясными и для него самого», ясна, по крайней мере в том отношении, что она противостоит концепции Вяч. Иванова. У того, как у последовательного символиста, гуманизм отрицается во имя воскрешения религиозного мировоззрения, у Блока (при всех неясностях) — во имя утверждения революции как возмездия. В поэме эта идея воплощена в истории одной русской семьи.

Девятнадцатым и продолжающим его двадцатым веком, — пишет Блок, «человек брошен в ночной мрак, в бездомность». Это сделали: умозрение, материализм, экономические доктрины, банки, буржуазия, машины — «гуманистический туман... Под знаком равенства и братства здесь зрели темные дела» (III.304, 5).

И это изуродовало человека. Талантливый отец героя поэмы превращается в индивидуалиста — «демона» и умирает в «берлоге современным Гарпагоном». Сын его, при всех его дарованиях и стремлении к подвигу, превращается в человека «больного, с душою ржавой» (III, 346). Он, правда, бунтует, полон мятежиых стремлений, но вынужден, в существующих условиях, «зарывать душу в землю», этим выражая свой протест: «возмездие кучке олигархии, которая угнетает мир» (III, 465).

Все же, в отличие от отца, сын играет уже и некоторую положительную роль: своей тревогой и метаниями он «способствует выработке человека». Это поколение, которое «бросает перчатку судьбе», — «едкая соль земли, предвестники будущего» (III, 464).

Наконец, намечается в поэме и третье поколение: дитя, рожденное от сына и «простой матери», польки, мечтающей, как весь ее народ, о мести царизму. И, по замыслу поэта, с самого детства ребенок, «отпрыск рода», растет, готовясь к революционному подвигу.

Таков замысел поэмы.

В тех частях «Возмездия», которые Блок успел написать, замысел этот получил лишь частичное воплощение: в образах отца, сына и в ряде эпизодов из истории России.

В первой главе показана Россия периода Балканской войны и начала 80-х годов. Блок рисует господствующую олигархию, организующую парадную встречу балканской армии: «высший свет», полицию, толпы городского мещанства, кричащие «ура!». Но все это непристойное, по мысли поэта, «нелепое великолепие». А в противовес этому изображено подвижничество народа, прошедшего войну, и показаны люди, которые открывают за «сумраком» парада будущее страны, «рок» России: народовольцы, Софья Перовская, Степняк-Кравчинский — люди высокого мужества и вдохновения, готовые «на смертельную борьбу» (III, 306—313).

Во второй (незаконченной) главе рисуются глухие годы: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». И — в плане общеисторической концепции Блока — опять характерно, что даже «зажатая рукой железной» страна все же, по мысли поэта, «и у волшебника во власти казалась полной сил» (III, 328). Россия, как и Европа, закопчена чадом и туманами круппов, царизм навязал народу бремя «вооруженного мира», «зарыты в землю бунтари», но, по Блоку,

Их голос заглушен на время.

(III, 466)

Наконец, в третьей главе (также незаконченной) страна — «под бременем обид, под игом наглого насилья»; она «теряет стыд», п «безмолвствует народный гений». Но и теперь «жизнь глухо роется в подполье, и ветер ломится в окно, взывая к совести и к жизни». Сквозь загнанность, забитость, мрак герой «постигает слухом жизнь иную» и приветствует ее:

Ты все благословишь тогда,

Поняв, что жизнь — безмерно боле,

Чем quantum satis Бранда воли,

А мир — прекрасен, как всегда.

(III, 344)

Так, несмотря на незаконченность, «Возмездие» все же — целостное произведение. Поэт хочет поведать правду о Родине, о судьбе «детей страшных лет России». Он видит, как зреет гнев, нарождаются юность и свобода. Видит новую породу мужественных людей, несокрушимых, как алмаз. И он радостно приветствует будущее Родины, жизнь. «Пролог» к поэме (1911) — точное выражение ее сути, включая главы, написанные в позднейшие годы. Перекликаясь со стихами о Родине и «Ямбами», «Пролог» оказывается кредо всего творчества поэта:

Позволь хоть малую страницу

Из книги жизни повернуть.

Дай мне неспешно и нелживо

Поведать пред Лицом Твоим

О том, что мы в себе таим,

О том, что в здешнем мире живо,

О том, как зреет гнев в сердцах,

И с гневом — юность и свобода...

Созрела новая порода,—

Угль превращается в алмаз.

Он, под киркой трудолюбивой,

Восстав из недр неторопливо,

Предстанет — миру напоказ!..

Но ты, художник, твердо веруй,

В начала и концы. Ты знай,

Где стерегут и ад и рай...

Твой взгляд — да будет тверд и ясен.

Сотри случайные черты —

И ты увидишь: мир прекрасен...

(III, 301-303)

И уже после «Двенадцати» и «Скифов», переживая творческий кризис, Блок и в последних своих стихотворениях утверждал ту же устремленность к жизни и к «грядущему». По поводу «Последних стихов» 3. Гиппиус, полных ненависти к Советской России, он писал, что они — Блок и Гиппиус — люди разных миров. Ей, предвидел поэт, — уйти в эмиграцию, ему — идти с революционной родиной:

Но в дали я вижу — море, море,

Исполинский очерк новых стран,

Голос ваш не слышу в грозном хоре,

Где гудит и воет ураган!

Страшно, сладко, неизбежно, надо

Мне — бросаться в многопенный вал,

Вам — зеленоглазою наядой

Петь, плескаться у Ирландских скал.

Высоко — над нами — над волнами —

Как заря над черными скалами —

Веет знамя — Интернацьонал!

(III, 372)

Наконец, в последнем стихотворении «Пушкинскому дому», написанном незадолго до смерти, Блок так раскрывает смысл своих былых «страстных печалей»:

Пропуская дней гнетущих

Кратковременный туман,

Прозревали дней грядущих

Сине-розовый туман.

(III, 376, 377)

В небольшом стихотворении, посвященном 3. Гиппиус (1919, май), Блок пишет: «Вы жизнь по-прежнему нисколько не знаете» (III, 373). Но символистам и не надо было знать жизни. Уход от действительности и ее дискредитация были принципом их искусства.

Блок шел другим путем: от Прекрасной Дамы к Родине и революции.

В этом плане интересны также теоретические высказывания Блока; они выясняют, как постепенно углублялись его демократизм и стихийно-материалистическое осмысление мира. Вот некоторые его записи.

В 1908 году Блок писал: «Все окружающее, ежедневное говорит мне каждый день, что нечего ждать от интеллигенции... не только мне, но и всем». И рядом: «Если цвет русской интеллигенции ничего не может поделать с этим мраком и неблагополучием, как этот цвет интеллигенции мог, положим, в 60-х годах, бороться с мраком, — то интеллигенции пора вопрошать новых людей» (3. К., 118, 119).

(Необходимо учесть, что Блок писал это в то время, когда веховцы обрушились на материалистов-революционеров 60-х годов, как на развратителей русской интеллигенции, противопоставляя им, в качестве учителей, писателей религиозных. В 1917 году Блок опять чрезвычайно высоко оценивает шестидесятников: «Вы вот [обращаясь ко мне, Ал. Ал. имел в виду целое поколение] выкидываете полностью 60-е годы и в этом ваша коренная ошибка: без этих годов не может быть нашего будущего» (М. Бабенчиков. Блок и Россия, стр. 85, 86)).

В противовес утверждавшейся символистами (прежде всего Вяч. Ивановым, Мережковским, 3. Гиппиус) христианской смиренности, жертвенности и т. п. Блок заявляет:

«Нам непонятны слова о сострадании, как начале любви, о том, что к любви ведет бог, о том, что Россия — монастырь, для которого нужно «умертвить всего себя»... Мы уже не знаем той любви, которая рождается из сострадания, вопрос о боге — кажется самый нелюбопытный вопрос в наши дни» (V,326).

В то же время Блок пишет о «кликушеской истерике А. Белого», видит «единственную возможность преодоления одиночества в приобщении к народу и занятии общественной деятельностью» (3. К., 123, 114).

В 1911 году, работая над поэмой «Возмездие», Блок внимательно изучает историческую литературу о революционном движении России, цитирует Плеханова и выделяет его мысль: «Наследство революционеров 70-х годов было чрезвычайно велико и незаменимо в практическом смысле» (III, 455).

В 1913 году Блок записывает сведения об «успехах рабочего движения, оживлении промышленности, росте демократии». В то же время о Белом и теософии он отзывается так: «Все, что узнаю о Штейнере, все хуже...В Боре в высшей степени усилилось самое плохое». И далее: «A. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах — все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее» (VII, 209, 217,218).

В 1914 году суждения Блока звучат еще определеннее: «Модернизм ядовит... Мне неудержимо нравится «здоровый реализм», Станиславский»... (3. К., 209, 214).

В 1917 году после Февраля, видя «в миллионах душ — пламя вражды, дикости, злобы, недоверия, мести», Блок так определяет «задачу» русской культуры: «Направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю... чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть. Один из способов организации — промышленность» (VII, 296, 297).

В 1918 году в непосланном письме 3. Гиппиус (где речь идет о бывших друзьях-символистах) Блок заявляет: «Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905... Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего; но только рядом с второстепенным проснулось главное. В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то, узел замалчивания завязывался все туже... — оставалось только рубить. Великий Октябрь их и разрубил... Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть во много раз больше. Неужели вы не знаете, что «России не будет»... что «старый мир» уже расплавился?».

И о том же он пишет 22 января 1918 г... «Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно... Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!» (З.К., 385).

В этом свете понятно, почему в 1919 году Блок так определяет задачи и смысл искусства: «Никуда не прятаться от жизни, смотреть в глаза происходящему как можно пристальнее и напряженнее». «Искусство, вместе с наукой ведет к познанию... жизни мира» (VI, 353, 357).

Идейный рост Блока органически связан с ростом его как художника. Подробный анализ поэтики Блока — задача специальная; мы отметим лишь основную линию его эволюции в этой области.

Исследователями здесь многое уже сделано. В. Жирмунский еще в 1922 году детально охарактеризовал особенности метафорического строя поэзии Блока. Исходя из того, что «основной прием Блока — метафора», развивающаяся подчас «в самостоятельную тему целого стихотворения», исследователь интересно анализирует язык Блока как язык, в котором «обычные слова» приобретают иносказательное, символическое значение; анализирует различные сложные метафорические конструкции: метафору «второй степени», катахрезу; неожиданные столкновения метафорического ряда с реальным; детали («поскольку можно говорить о конкретных деталях в романтическом образе»), которые «также даются в метафорическом преображении».

Однако, правильно отмечая многие особенности метафорического языка Блока, исследователь осмысливает функцию его поэтической речи как средство «иррационализацни общего замысла», раскрытия «мира мистических переживаний». И это, согласно концепции В. Жирмунского, вполне закономерно: «Когда поэт-мистик сознает невыразимость в слове переживания божественного, он обозначает невыразимое с помощью иносказания, символа».

Л. Тимофеев замечает по этому поводу: «Вряд ли закономерен общий вывод относительно роли метафор у Блока, как средства иррационализации действительности». Это справедливо лишь применительно «к раннему периоду творчества поэта».

Действительно, определение функции метафоры в том духе, как это дает Жирмунский, верно, вообще говоря, в отношении последовательных символистов: для них метафора (да и вся конструкция произведения) служит средством увода в «иные миры». Мы с этим выше встречались, особенно в «Симфониях» Белого, в стихах Вяч. Иванова. У раннего Блока это, естественно, тоже имеется. Но этого нет в позднейшем творчестве.

Интересно, что в результате изменения мировоззрения поэта, в новом общем контексте художественные компоненты, генетически связанные с символизмом (язык, метафоры, детали), приобретают новый смысл.

Какие особенности символистской поэтики были присущи и Блоку-символисту? Это, прежде всего, особенности, отмеченные еще Ин. Анненским: «абстрактный» язык, обилие «отвлеченных слов»; «зыбкие сочетания слов»; «оксиморонные сочетания»; столкновение слов «красочных и отвлеченных»; усиленное развитие «прилагательных, не навязывающих уму сковывающей существенности».

В интересной и богатой фактическим материалом работе В. Гофмана находим те же определения поэтического языка символистов: «Символисты требовали от языка, чтобы он помог им выйти «за пределы предельного». Поэтому вся их поэтическая речь «основывалась на отвлечении смысла слова от конкретных, положительно определяемых признаков и конкретных связей».

О. Мандельштам говорит о том же, как поэт: «Символисты запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Все преходящее есть только подобие. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга: вот куда приводит символизм».

Блок начал свой путь с этого литургического языка. Но по мере идейного роста, освобождения от символистского субъективизма и обращения к реальной действительности, он все более осознает его искусственность, художественную неполноценность. «Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся, — отмечает он в «Дневниках». — Чем больше привык к «красивости», тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времении пространстве» (VIII,118). В письме С. Богомолову Блок писал: «Только оттого, что мы перестаем «красоваться» и любоваться на самих себя, — мы сразу начинаем говорить человеческими голосами, и не теми «декадентскими», «нечестными»... которые раздаются в таком обилии в современной литературе» (VIII, 413).

И вот, чтобы избавиться от всего «декадентского» и «нечестного», считает Блок, нужно «размышлять о живом», нужно «найти действительную связь между временным и вневременным»; а пока не найдешь этой связи, «до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным» (VII. 118).

Метафорический язык зрелого Блока, все его богатство, гибкость, многомерность тем, прежде всего, и объясняется, что между «временным» и «вневременным» поэт нашел «действительную связь» в живой жизни, «во времени и пространстве». Поэтому во всех сложных метафорических конструкциях, которые действительно имеются и у позднейшего Блока, нет уже мистического смысла. Наоборот, вое богатство метафорической речи используется для «объемного» воплощения реальной жизни. «Одним из главных моих вдохновений — записывает Блок в «Дневнике» — была честность, т. е. желание не провраться «мистически». Так, чтобы все можно было объяснить психологически, «просто». И если, продолжает Блок свою мысль, события, изображаемые поэтом, «приобретают иной смысл — символический», то это не означает, что он ушел в мистику: это значит только, что он «сумел углубиться в них» (в события), придать им смысл более широкий: «Я ничего не насиловал, не вводил никаких неизвестных, события идут как в жизни» (3. К., 285).

Сказанное можно подтвердить бесчисленными примерами. Мы ограничимся сопоставлением поэтической структуры лишь двух поэм: «Христос воскрес» А. Белого, как произведения последовательного символиста, и «Двенадцати» Блока.

О поэме «Христос воскрес» говорилось выше. Ее основную идею можно выразить так: веками, начиная со дня распятия Христа, люди издевались над ним. А теперь, в Октябре, хотя еще сохраняется «прежняя бездна безверия», но за вакханалией безбожного мира поэт провидит Россию (мир) возрождающегося Христа. Отсюда и название поэмы. «Современность, — пояснял Белый, — лишь внешний покров. Внутреннее ядро поэмы не знает времени».

Таким образом, мир в этой поэме осмысливается «вне реальной истории и реального человека». Этому соответствует и ее поэтическая структура. Неологизмы, библейский словарь, метафоры, их сложные конструкции и даже, казалось бы, реалистические детали — все это имеет мистический смысл: это религиозно-символический язык, предназначенный для постижения «божественного»: Зареяло из вне-времени. Вострубленная Буря Духа, прорезалась Назарея, Пресуществленные божественно Пелены, Тело, сияющее новозаветными летами, нетленно простертые длани от Запада до Востока, весть прогремела Осанной, и т. д., и т. п.

В этом же свете осмысливаются Белым и «реалистические» детали. «Железнодорожная линия — красные, зеленые, синие огоньки — сулят невозможное»; «Распропагандированные паровики, голосящие «Да здравствует третий Интернационал» — «голосят свистками про невозможное». «Расслабленный интеллигент», толкующий о Константинополе, «два безбожника», поднимающие труп убитого, крики, слезы, «падающие покойники», «обороняющийся от кого-то» домовой комитет — все это «злая, лающая тьма» безбожия.

Наконец, в таком же мистическом освещении изображена Россия в целом («Страна моя, ты — облеченная солнцем Жена, Богоносица, побеждающая Змия») и народы, ее населяющие («простершие длани в пространства, преисполненные огня слетающего Серафима»). Октябрьская же революция («бурями вострубленная весна»), провозглашает поэт, — это «сияющая атмосфера», вносящая в сознание «каждого человека» спасительное «Слово из огненного горла»: «Сыны возлюбленные, — Христос Воскрес!».

Такова художественная структура этой поэмы, ее словарь, метафорическая образность, детали. От начала до конца это поэтическая деформация современности в мистико-теософском духе, определившая в частности и интонацию поэмы: вещание провидца и пророка.

«Двенадцать» переносит нас в иной, реальный мир, и естественно, что и поэтика Блока лишена каких-либо «литургических перемигиваний», «ничего не насилует» и служит реалистическому осмыслению эпохи.

И такова уже тональность «Двенадцати» — богатейшая полифония, нарожденная революционным временем: частушечные запевки, монологическое и диалогическое просторечие, городской романс, лозунговый выкрик, патетически взволнованный голос автора, подчеркивающий величие совершающегося:

И идут без имени святого

Все двенадцать — вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль...

Вперед, вперед,

Рабочий народ!

Не случайно в «Хорошо!» полифония эта была продолжена Маяковским.

Детали у Блока — точные приметы времени, лишенные какого-либо мистического значения: плакаты об Учредительном собрании; старушка, убивающаяся, что зря изведен «такой огромный лоскут»; писатель—вития, произносящий типичные тогда для буржуазной интеллигенции слова о «гибели России»; керенки в чулке у Кати, ее «пунцовая родинка»...Да и поэтически реализованы многие детали ярким просторечием: «у ей керенки есть в чулке», «електрический фонарик на оглобельках»...

Наконец, метафорические конструкции Блока, даже в том случае, когда они связываются с «вневременным», мировым, имеют совершенно реальный смысл в «пространстве и времени». «Ветер, ветер — на всем божьем сеете!» — это ветер октябрьской революции, сметающий старый мир барынек, витий, попов... «Мировой пожар» — это «пожар в груди на горе всем буржуям». Метафоры «второй степени» (например, сложная конструкция: буржуазия — старый мир — пес — волк) даются в отчетливо реалистическом и революционном осмыслении:

Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос.

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост...

Скалит зубы — волк голодный —

Хвост поджал, не отстает —

Пес холодный — пес безродный...

— Отвяжись ты, шелудивый,

Я штыком пощекочу!

Единственное место в «Двенадцати», где Блок отдает некоторую дань прошлому, — образ Христа. Но и этот символический образ не имеет религиозного смысла. Это, как уже говорилось, поэтическое выражение того «огромного» и светлого начала, которым утверждается, вопреки эксцессам, «державный шаг» народного движения.

В. Жирмунский многосторонне раскрыл одну из важных особенностей поэтики Блока: ее сложную метафоричность. В этом заслуга исследователя. Но он не показал тогда эволюции метафорического языка поэта, искусственно связывая все это творчество с религией.

Л. Тимофеев убедительно раскрыл другую сторону поэтики Блока, осмыслив ее в эволюции.

Исходя из того, что поэт постоянно переживал «чувство катастрофы» — приближение эпохи революционных переворотов; что он, поэтому, постоянно ощущал «непримиримые противоречия жизни» (жил «меж двух огней»), Л. Тимофеев определяет особый «угол зрения», поэта: «стремление ощутить противоречивость явления, уловить в нем полярные, контрастные его стороны». Отсюда «творческий принцип сопоставления явлений, принцип контраста».

Исследователь раскрывает эту контрастность в сюжетах и композиции произведений Блока («Незнакомка», «Инок», «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Скифы», «Анне Ахматовой»); в его языке: контрастность эпитетов, антонимы, оксиморонные словосочетания; этим же принципом он объясняет «поиски наиболее драматичных и острых ситуаций, в которых с особенной силой выступают жизненные противоречия». Наконец, так же объясняется своеобразная интонационно-синтаксическая и ритмическая структура стихов Блока: обилие вопросов, обращений, восклицаний, повторов, «создающих исключительно напряженную эмоциональную атмосферу речи».

Наряду с этим, говоря об эволюции поэтики Блока, Л. Тимофеев отмечает: «Не отказываясь от предельно острой революционно-романтической оценки действительности, Блок вместе с тем все более полно насыщал свою поэзию реальным жизненным содержанием». И «именно в этом направлении развивалась поэтика контраста Блока», все более сближаясь с революционным искусством, отражавшим великий жизненный контраст: «решающее историческое противоречие — борьбу двух миров».

Исследования поэтики Блока, проведенные В. Жирмунским и Л. Тимофеевым, не противоречат друг другу, как не противоречит этому и найденный самим поэтом прием «действительной связи между временным и вневременным» (VII, 118). Метафоричность поэта сплошь да рядом контрастна; контраст выражен метафорическим языком; связь между временным и вневременным, как средство выражения действительных связей жвзии, в известном плане, — тоже контраст. Все стороиы поэтики Блока взаимосвязаны, переходят одна в другую, дополняют друг друга, создавая неповторимое своеобразие его поэзии. Но при всем этом именно эволюция художественных приемов Блока, связанная с его идейным ростом, выявляла их новую функцию и придавала им новую обогащенную содержательность. Так, например, абстрактно-символистский язык, соединенный с конкретно-жизненным (подчас — с просторечием) и направленный на осмысление «действительных связей», по-новому открыл свои возможности. Так сложно-метафорические структуры, обращенные не к религиозной метафизике, а к реальной жизни, придают поэтическому языку новую экспрессивность.

«Русская революция виновата перед русской поэзией», — писал Ю. Айхенвальд, считая «виной» революции создание Блоком «Двенадцати», поэмы, по его мнению, свидетельствующей о падении художника и измене искусству. Гибелью поэта и человека считали творчество Блока, «изменившего» символизму, сторонники этого течения. Логика этих суждений, очевидно, объяснена еще Гейне: «Обезьяны смотрят на людей как на извращение обезьяньей природы».

На деле все обстоит иначе. Революция спасла Блока. Она спасла его еще в 1905 году, вырвав из искусственного и больного мира мистиков. И вторично она вывела его из мучительнейшей безысходности в годы войны, утвердив его убеждение: «Жизнь прекрасна», «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Символизм был губителен для художника, отвращал его от бесконечно богатой — содержательностью, красками, ситуациями, проблемами — реальной жизни, уводил в абстракцию, в вымышленный и искусственный мир. Такой путь прошли все последовательные русские символисты — Ф. Сологуб, К. Бальмонт, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Вяч. Иванов, естественно закончив свой путь духовной опустошенностью. И все они, в той или иной форме, совершили то же преступление, что Леверкюн: они «свернули с прямой дороги служения людям и предались сатанинским неистовствам». Не случайно все основные положения философии и эстетики символизма — ненависть к разуму, демократии, общественности, гуманизму, искание путей «над историей» — предусмотрены в договоре дьявола с Леверкюном.

И на этом фоне путь Блока, прошедшего через эту бездну, преодолевшего ее и ставшего крупнейшим эпохальным поэтом, представляет собой не только исторический интерес. Это живой урок для многих современных художников, так или иначе подвергающихся влиянию модного сейчас на Западе модернизма. Путь Блока — это путь от декадентства к высокому искусству, от «яда модернизма» к жизни, от тьмы к свету.

К этому свету Блок стремился всю свою жизнь, преодолевая «яд» прошлого. В самые жестокие годы реакции он писал одному своему корреспонденту: «Последняя просьба: если вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем» (VIII, 386). И о том же он писал в стихотворении 1914 года, которое является его заветом, завещанием, самым глубоким выражением смысла его творчества:

О, я хочу безумно жить:

Все сущее — увековечить,

Безличное — очеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне, —

Быть может, юноша веселый

В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь — дитя добра, и света,

Он весь — свободы торжество!

(III, 85)

Советское литературоведение утверждает этот образ Блока: единственно дорогой и желанный самому поэту, единственно соответствующий его историческому и современному значению.